УДК 130.2:821.161.1"18/19"

И. В. Батурина

Проблема творчества в персоналистических исследованиях В. В. Зеньковского: А. С. Пушкин, Л. И. Шестов, И. С. Тургенев

Сравнительный философский анализ результатов и выводов персоналистических исследований В. В. Зеньковского о сущности феномена творчества во взглядах трех русских мыслителей: А. С. Пушкина, Л. И. Шестова, И. С. Тургенева показал, что творчество трактуется ими как драма человека и его жизненной активности, проникнутая неподдельным напряжением и содержащая в себе тайну, остающуюся за рамками сего мира.

Ключевые слова: философия творчества, религия, тайна жизни, драма жизни, акт творчества, духовность, разум, В. В. Зеньковский, А. С. Пушкин, Л. И. Шестов, И. С. Тургенев

Irina V. Baturina

Problem of creativness in Zenkovsky's personalistic studies: A. Pushkin, L. Shestov, I. Turgenev

This article is dedicated to comparative philosophical analysis of the results and conclusions of Zenkovsky's personalistic investigations in nature of the creative phenomenon in the views of three russian thinkers: A. Pushkin, L. Shestov, I. Turgenev. The author demonstrates, that they treat creative work as a human drama penetrated with genuine tension and containing a mystery, which is beyond the world.

Keywords: philosophy of creativeness, religion, mystery of life, drama of life, creative act, spirituality, reason, V. Zenkovsky, A. Pushkin, L. Shestov, I. Turgenev

Персоналистические исследования В. В. Зеньковского очень важны для понимания сути проблемы творчества. Во-первых, потому что великий историк философии анализирует творческое наследие и жизнь ярчайших русских гениев в неразрывном единстве, показывая, насколько феномен творчества неотделим от духовной биографии и не может быть рассмотрен как простая работа мысли. Во-вторых, потому что ведущей нитью сквозь многие персоналистические исследования проходит тема красоты как сложнейшего духовного, а не эстетического феномена для всей русской художественной и философской мысли. Зеньковский подчеркивает, что красота в русском миропонимании выступает дорогой к преображению жизни или – даже более – образом, эманацией инобытия. Подлинная красота неотделима от мысли о Божьей первозданности, нетварном начале мира, и потому придает творческим, художническим исканиям онтологическую глубину. Русская философия творческого акта никогда не была и не может быть формальной, теоретической, тяготеющей к началам истории культуры и психологии; она – всегда внутренняя драма, поиск инобытия, неприятие насущно-действительного и условного, тоска по Абсолюту, или «борьба за Логос», выражаясь словами В. Ф. Эрна. Именно эти характерные черты отечественного мировоззрения с преломлением их на общую сложность проблематики творчества очень ярко вскрывает В. В. Зеньковский в своих персоналистических исследованиях, делая последние неотъемлемой и самобытной частью всего корпуса истории русской философии.

А. С. Пушкину, его личности и творчеству В. В. Зеньковский посвящает две небольшие, но знаковые работы: главу в статье «Философские мотивы в русской поэзии» и заметку «Памяти А. С. Пушкина». Первое, что отмечает философ в Пушкине, – эстетическая восприимчивость и внимательное отношение к собственным эстетическим переживаниям. По мысли Зеньковского, это неслучайно, поскольку проблема красоты имеет для Пушкина онтологическое и мировоззренческое значение. Для Пушкина красота всегда была «откровением святыни», даже вне зависимости от тех форм, которые она могла принимать в реальной жизни. Зеньковский подчеркивает, что Пушкин остается в русской поэзии первым и единственным, для кого красота сохранила исключительно благодатный и религиозный смысл, не обретая черт эстетической утопии и не расщепляясь в рассудочных анализах. Следует особо отметить, что в противовес западной романтической традиции понимания красоты как «видимости», «эстетического объекта», некой мечты Пушкин такое воззрение считал страшным и томительным искушением (которое он передал стихотворением «Демон»):

Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал…[1]

Зеньковский неоднократно проводит мысль, что божественную природу красоты Пушкин напрямую связывает и с подлинными истоками творчества. Служение красоте как служение Богу – такова гениально простая и беспредельно сложная формула творчества у Пушкина, которую он последовательно развертывает в стихотворении «Пророк», многими мыслителями (В. В. Зеньковским, С. Франком, С. Н. Булгаковым и др.) признающемся вершиной его поэтической и духовной жизни. Сам Пушкин тоже «смело и прямо» поклонялся «святыне красоты», и никакие демонические наветы не могли смутить его. Вершиной поэтической задачи он считал быть послушным велению Божию («Пророк»). Преображение поэта в пророка, которому Бог повелевает «глаголом жечь сердца людей», отвечало самым глубоким исканиям Пушкина[2]. Может быть, именно в таком сакральном отношении к творчеству и заключается удивительная простота и правдивость поэзии Пушкина, которую никто после него не смог повторить. Неслучайно Н. В. Гоголь считал, что русская литература не может идти путем Пушкина, вовсе не потому что существование «искусства для искусства» недостойно, а потому, что никто не способен так, как Пушкин, явить силой творчества «святыню красоты».

Однако и Зеньковский, и другие исследователи творчества Пушкина отмечали, что Пушкин все равно остается до конца не раскрытой тайной, быть может, самой загадкой русской гениальности. Сущность этой тайны, наверное, состоит в отношении поэта к собственной гениальности, которое было сколь сакральным, столь же трагическим и драматичным. С. Н. Булгаков считал, что жизненная драма Пушкина началась с отхода им от вдохновения в мир реальных страстей, за что поэт и понес достойно вынесенную им смертельную кару.

Зеньковский придерживается несколько иного мнения, утверждая, что поэтический гений, как это ни парадоксально, закрывает личную жизнь Пушкина, сам масштаб его личности. При этом философ подчеркивает, что талант Пушкина выражался не только в его лирике, но и в человеческом даре признания и служения своей гениальности. Именно это позволяло поэту как бы взирать на себя со стороны, прекрасно осознавая ту плененность страстями и греховность, которую он, как и всякий человек, нес на себе. Здесь корень многих гневных и печальных признаний Пушкина, здесь истоки трагического ощущения затерянности человека в бытии. Однако силой творчества и красоты Пушкин всегда поднимался над этим и действительно, по-христиански, был способен всегда жить в двух мирах: горнем и дольнем. Зеньковский передает это словами: «Вся лирика Пушкина есть гениальное самоочищение, вся она полна удивительного одухотворения и преображения стихий мира, столь ярко живших в нем самом. Позволю себе сказать: не литературное дарование делало Пушкина большим человеком, но то, что он был действительно замечательным человеком, что в нем все время шла глубокая и серьезная духовная работа, – это именно и сообщило его творчеству ту пламенеющую силу, действие которой осталось навсегда в русской культуре»[3]. По сути, Зеньковский здесь делает ключевой для всей философии творчества вывод: сила творчества не может жить в человеке отдельно от его духовно-нравственного развития, ибо подлинное творчество – не навык, не талант, не особый строй ума, а дар свыше, Божья печать, не терпящая греховного произвола и отступничества. «Бог есть и Творец, и Промыслитель; и творческая Его сила, также и содержащая все, и промыслительная есть благая Его воля, ибо вся, елико восхоте, Господь сотвори на небеси и на земли (Пс. 134:6), и воле Его не противится никто (Рим. 9, 19). А что Бог промышляет… прекрасно…»[4]. Эту необоримую силу небесного избранничества, как никто, ясно и трепетно чувствовал на себе Пушкин; может быть, именно поэтому проблема несовместности гения и зла, страсти и вдохновения – одна из центральных и мучительнейших в его творчестве. Сам себя постигал, и карал, и превосходил в этой теме Пушкин…

Можно продолжить размышления С. Н. Булгакова и В. В. Зеньковского относительно феномена творчества Пушкина, который, безусловно, связан и с тайной его смерти, явившейся одновременно расплатой за греховность страстей и благодатным изъятием поэта из этого мира… Иными словами, можно утверждать, что судьба гениальности в человеческом творчестве не бывает другой: в этом и состоит трагизм и высота творчества, так как оно есть служение греховного существа Божественному замыслу и истине,

и антиномизм – как в самом творчестве, так и в судьбе его носителя – есть неизбежная черта избраннического дара.

Совершенно особое внимание В. В. Зеньковского обращено к личности и творчеству Л. И. Шестова, потому что только его философ считает по духу истинно религиозным человеком и мыслителем. И в «Истории русской философии», и в статье, посвященной его памяти, Зеньковский отмечает, что все творчество Шестова проникнуто неподдельным напряжением и искренностью и одновременно заключает в себе какую-то драму, тайна которой остается как бы «за рамками» и по существу своему не разгадана. Основной пафос философии Шестова кроется в страстной потребности освободиться от «тирании разума», взорвать традиционность мышления в том смысле, чтобы уйти от всемогущего стремления к систематизации и завершенности. Зеньковский отмечал, что Шестов был великолепным историком философии, знал ее от античности до своих времен, мог как бы полемизировать с любым из философов различных направлений и школ, никогда не отвергая краеугольных вопросов философии, но всегда разрушая окончательность и однозначность ответов на них. Сам подобный стиль мышления и творчества Шестова, по мысли Зеньковского, глубинно определяется его духовными поисками и религиозными устремлениями. Таким образом, Зеньковский особо подчеркивает, что Шестову необходима была именно религиозная философия, а не «профессорские штудии», как иногда выражался он сам: «[Шестов] не был настолько философ, чтобы уйти в чистую мысль, но вместе с тем он был слишком философ, чтобы уйти целиком в область веры. Иначе говоря, ему была нужна религиозная философия,т. е. философия, исходящая из веры и Откровения: недаром его последняя и лучшая книга „Афины и Иерусалим“ носит подзаголовок: „Опыт религиозной философии“»[5]. Однако своих личных религиозных взглядов Шестов никогда напрямую не касался, по мнению Зеньковского, храня в этой области должное целомудрие. Но из самого бунтарского духа творений Шестова проступает сложная неоднозначность его религиозного мира. От проницательного понимания Зеньковского не укрылось, что в душе Шестова как бы переплетаются две культуры, две традиции: иудейская и христианская. С одной стороны, он говорит об исключительной трансцендентности Бога, который не допускает никакого иного отношения, кроме закона и послушания; с другой – его внутренний мир питался смыслами Божественного Откровения и учением о воплощенном и действующем в мире Логосе. Именно поэтому Шестов с такой настойчивостью пытался создать религиозную по духу, а не по букве, философию,т. е. исходящую не из рациональных последовательностей, а из невозможного, о котором учит Вера. Поэтому Зеньковский красной нитью проводит мысль, что само творчество Шестова имело совершенно особый характер и являлось для него подлинной крестной мукой человека, искавшего не диалектических стройных систем, а области Абсолютной истины и Абсолютного добра, где возможно совершенно непостижимое и даже, по человеческим меркам, несправедливое. Шестов даже не ставил перед собой задачи построения каких-либо мыслительных схем в религиозной области, он не пускал вдохновения в пространство Веры и Откровения. В этом была его жизненная драма, но одновременно та самая религиозность, дух которой сразу уловил Зеньковский.

> Христианской мудрости не знал и не хотел знать Шестов – он любил Евангелие, но чуждался христианского богословия. В этом и была его внутренняя драма, как я ее понимаю: он хотел в ветхие меха влить новое вино, – и конечно, эти меха оказывались негодными, из чего Шестов делает вывод, что для нового вина мехов вообще не найти…[6]

Подобная духовная зрелость рождает и определенный, очень мучительный, вид творчества как попытку схватить Невозможное и Истинное, отказавшись от любого культурно-условного,т. е. человеческого, инструментария. Выражаясь словами Зеньковского, это есть отказ от «частичной имманентности Бога миру», которую безусловно признает христианство, не допуская при этом мысли об отождествлении Творца с творением. Именно такой сложный, неповторимый и трагический в бесконечности своего поиска пафос мысли характерен для Л. Шестова, чье творчество является и актом саморефлексии и покаяния, и следованием за сердечной мудростью и совестью. Прежде всего, в этом таится дух неисчерпаемости творчества Шестова, непохожесть мыслителя ни на кого другого.

Особняком в русской культуре стоит феномен творчества И. С. Тургенева, который так же, как и творчество Шестова, из глубин духовной и религиозной жизни рассматривает В. В. Зеньковский. Философ сразу обращает внимание на сущностную раздвоенность во внутреннем мире Тургенева. С одной стороны, он был во многом

человеком западной культуры, в которой предельное значение имеет самоутверждение личности, всемогущество рационализма, находящее свой апогей в гегельянском миросозерцании. С другой стороны, Тургенева таинственным образом всю жизнь не оставляли предельные вопросы человеческого существования: проблема одиночества, феномен смерти, бесконечность и смысл любви, сущность свободы и т. д. Не находя разрешения этих вопросов, Тургенев со временем разочаровывается как в гегелевской диалектической концептуальной системе, так и во всяком идеалистическом миропредставлении.

Можно сказать, что с этого момента он созревает и крепнет как художник, для которого всю жизнь центральными оставались, по сути, только две темы: проблема человека и символика природы. Именно через последнюю Тургенев и пытался находить ответы на самые жгучие эсхатологические вопросы бытия. Но когда писатель обращался к природе напрямую, непосредственно ища в ней закономерностей и рационально проявленных смыслов, она, природа, отвечала ему замкнутостью и тоской, обнажая предельную хаотичность своих порывов. Здесь, по мысли Зеньковского, и начинаются истоки трагического мироощущения у Тургенева.

Однако не меньшую силу в Тургеневе имело совершенно иное начало, которое можно именовать чисто эстетическим переживанием и предельной художественной отзывчивостью, когда в писателе умолкал голос рацио и начинало говорить только сердце. Тогда и природа, и весь мир совершенно другими голосами откликались на творческий призыв Тургенева, но отклик этот не был абсолютной гармонией и торжествующей красотой – он был исполнен вдохновения и лирической печали, смутного чувства силы и закона, которые превышают человеческое понимание смысла жизни и мира.

> Как художник, [Тургенев] чувствовал «сияние» в мире, жил красотой в мире, но для осмысления и, так сказать, «оправдания» этого не было основания в его «реализме». Отсюда, из этой «миросозерцательной драмы», надо исходить в истолковании всего его творчества и, конечно, меньше всего из его личной неустроенности. В диалектике трагических переживаний он в лучшем случае отдавался «светлой меланхолии», печать которой лежит на всех его произведениях, но за этой «светлой меланхолией» стояло жуткое трагическое ощущение, освободиться от которого Тургенев не мог до конца жизни[7].

Подобная художественная восприимчивость по силе своей сравнима почти с откровением, приближающим нас к запредельной сфере, но – и это однозначно схватывает Зеньковский – «в душе Тургенева не было или почти не было того, что овладевает такими откровениями, – не было религиозной веры»[8].

По мысли Зеньковского, онтологическую направленность и конечный смысл творческому вдохновению могут давать только религиозные истоки – без них художество на своих вершинах может стать лишь всемирной отзывчивостью, трагической тоской бытия, песнью твари. Именно религиозного духа не было в творчестве Тургенева, и это формулирует Зеньковский:

> Горе Тургенева в этой области состояло в том, что у него не было чувства Личного Бога: он признавал «высшие силы», трепетал перед «Неведомым» и в одном из «стихотворении в прозе» («Монах») писал даже: «Я понимал его (монаха) и, быть может, завидовал ему»… Финальные же размышления на эти темы Тургенев выразил в известном письме: «Я придерживаюсь мнения Фауста – кто смеет исповедовать: „я верую“ и кто дерзнет сказать: „я не верую в Бога“»[9].

С отсутствием религиозного начала в творчестве Тургенева связано и его особенное эстетическое целомудрие, по мысли Зеньковского. Тургенев великолепно знал «подполье» человека и далеко заглядывал в него, но сознательно как бы запрещал себе разрабатывать эту тему, уходил от пути Достоевского. Голос пола в человеке, тоска о свободе, внутренний произвол страстей – все это подернуто маскирующей эстетической дымкой в творчестве Тургенева и никогда не выступает на передний план. Наверное, так тоже выразилась невозможность писателя найти ответы на предельные вопросы и оправдать человеческую жизнь со всеми ее горестями и грехами. Бесспорно одно, подытоживая размышления Зеньковского о Тургеневе: творчество этого великого писателя нельзя отделять от его мировоззрения и, более того, ключ к нему, как и к любому творчеству, следует искать в религиозных началах и битве разума с «проклятыми вопросами». Творчество Тургенева только внешне можно назвать чистым эстетизмом – внутренне же это была исповедь ищущей и болящей души. Художественный дар Тургенева имеет предельно личностные черты и заключает в себе драму несостоявшегося религиозного опыта, но одновременно и надмирного откровения о мире. В. В. Зеньковский даже шире определяет ограниченность внутренней жизни Тургенева, сводя ее к неис-

коренимости у него западнического мировоззрения – принципиально секулярного.

> Если Тургенев действительно горячо любил Россию, то душа его была все же в плену западной культуры, в плену ее стиля. Он потому и не принимал основного в установке Хомякова и Киреевского, что их «пафос Православия» был ему не понятен, а потому и чужд; а что же, кроме Православия, отделяет нас от самого духа западной культуры, от ее стиля?[10]

Таковы в общем ракурсе персоналистические размышления Зеньковского, в которых, как очевидно, рассмотрение проблемы творчества является ключом к созданию душевно-духовного портрета личности, и наоборот: онтология творчества и сам характер творческого акта выступают центральными жизненными ориентирами и судьбоносным началом.

Завершая данную статью, заметим, что на примере анализа мировосприятия трех ярких личностей – А. С. Пушкина, Л. И. Шестова и И. С. Тургенева – и в связи с проблемой творчества Зеньковский приходит к выводу, что само творчество есть одна из высших форм свободы. Чтобы творить, человек должен уйти от своих земных привычек и привязанностей, обывательских, обусловленных его преходящим бытием интересов и потребностей, и тогда он становится способным ощутить искру Божью в самом себе, глубинную подчиненность жизни духа. Рассматривая творчество с самых различных точек зрения, В. В. Зеньковский всегда будет приходить к мысли, что оно, помимо психологических, антропологических и иных аспектов, заключает в себе момент непостижимой тайны, приближение к которой возможно только на путях религиозного опыта.

Примечания

[1] Пушкин А. С. Демон // Собр. соч.: в 10 т. М.: Худож. лит., 1959. Т. 2. С. 13.

[2] Зеньковский В. В. Памяти А. С. Пушкина // Собр. соч. М., 2008. Т. 1. С. 366.

[3] Его же. Памяти Л. И. Шестова // Там же. С. 168.

[4] Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. М., 2012. С. 193–194.

[5] Зеньковский В. В. Памяти Л. И. Шестова. С. 171.

[6] Там же. С. 173.

[7] Зеньковский В. В. Миросозерцание И. С. Тургенева // Собр. соч. М., 2008. Т. 1. С. 334.

[8] Там же. С. 331.

[9] Там же. С. 332.

[10] Там же. С. 334.